



**You have downloaded a document from
RE-BUS
repository of the University of Silesia in Katowice**

Title: Zargony i sleng v aspekte oformlenia leksiceskogo znacenia slova

Author: Petr Cervin'skij

Citation style: Cervin'skij Petr. (2009). Zargony i sleng v aspekte oformlenia leksiceskogo znacenia slova. W: M. Nadel'-Cervin'ska, A. Zyh (red.), "Leksika podstandarta. T. 2, Sovremennye zargony i ih opisanie" (S. 21-45). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego



Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych Polska - Licencja ta zezwala na rozpowszechnianie, przedstawianie i wykonywanie utworu jedynie w celach niekomercyjnych oraz pod warunkiem zachowania go w oryginalnej postaci (nie tworzenia utworów zależnych).



UNIWERSYTET ŚLĄSKI
W KATOWICACH



Biblioteka
Uniwersytetu Śląskiego



Ministerstwo Nauki
i Szkolnictwa Wyższego

Петр Червинский

Катовице—Сосновец, Польша

Жаргоны и сленг в аспекте оформления лексического значения слова

Сфера находящегося за пределами литературно-письменного, стихийного бытования языка, вызывая у языковедов неоднозначные, сложные и не всегда позитивные чувства, до сих пор не получила достойного себе описания и представления. По вполне понятным и объяснимым причинам. Прежде всего, в силу своей неясности, подвижности и бегучести в отношении языкового материала, что не позволяет с достаточной достоверностью считать увиденное или услышанное фактом, фиксация которого не вызывает сомнений с точки зрения своей узуальности и закреплённости. Коренное, пожалуй, отличие взятых в качестве объектов для данного рассмотрения форм бытования языка от народных говоров-диалектов, также стоящих и себя проявляющих вне пределов литературного, состояло бы в их (этих форм) нестабильности, с точки зрения материала и глосс-границ. К этому следовало бы добавить городское по преимуществу обращение в кругу подобных и неподобных наддиалектных нелитературных форм, что существенным образом осложняет вычленение данного социолекта на фоне других, а постоянное и практически неизбежное взаимодействие с ними делает затруднительным определение используемого в нем материала в отношении принадлежности.

Трудности связаны не только с определением материала, хотя доказательством существования данного социолекта как формы национального языка должно бы быть, по идее, наличие материала, репрезентирующего его особенность. Трудности связываются также, далеко не в последнюю, если не в первую, очередь, с тем, что непросто определить, что собой представляют как формы эти самые внелитературные, городского по преимуществу быто-

вания, языки. И здесь начинается движущаяся, перемещающаяся, перемещающаяся нередко, игра понятий и терминов, поиск критериев, оснований, признаков, свойств и средств. Мы не будем входить в условия и порядки этой, довольно давней, уже игры, знакомой каждому языковеду, имевшему дело со сферой внелитературного, подстандартного бытования языка — жаргон, арг, сленг, просторечие, социолект, диалект, наддиалект, интержаргон, тайный язык, условный язык, профессиональный язык и пр. Как они связываются между собой, чем различаются, что их объединяет, делит, что отличает их в своей совокупности от прочих форм и т.п. Не будем не потому, что это не стоит, напротив, стоит, необходимо делать. Не будем в силу иных причин. Отчасти в силу того, что, как это может ни показаться странным, вопрос этот языковедами в каком-то достаточном виде и смысле, по нашему представлению, в целом уже и решен. Критерии разграничения понятий и терминов, их обозначающих, необходимых для первого приближения к предмету, выявлены и в литературе отображены¹. И хотя едва ли не традицией стало начинать исследование, посвященное социолекту, с определения, точнее, своего понимания, все того же набора терминов, общий, словарно-терминологический порядок и вид формирующих их понятий и оснований, достаточный для обучения, ознакомления и использования в лингвистическом обиходе, в целом довольно ясен и, если и требует (здесь позволим себе на смелость подвергнуть сомнению устоявшийся взгляд) более полного определения и дальнейшего уточнения, то не в большей мере, чем все остальное имеющееся в лингвистике на сегодняшний день. То есть на данном этапе лингвистических знаний и в рамках сложившейся и не сменившей себя пока еще научной лингвистической парадигмы². Использование, понимание и трактовка тер-

¹ Не вдаваясь в подробности и различия существующих дефиниций, поскольку это тема специального рассмотрения, достаточным будет сослаться на определения, имеющиеся в *Лингвистическом энциклопедическом словаре* (Москва 1990): «**Жаргон** (франц. *jargon*) — разновидность речи, используемой преимущественно в устном общении отдельной социальной группой, объединяющей людей по признаку профессии (Ж. программистов), положения в обществе (Ж. рус. дворянства в 19 в.), интересов (Ж. филателистов) или возраста (молодежный Ж.)» и т.д. «**Сленг** (англ. *slang*) — 1) то же, что жаргон (в отечественной литературе преимущественно по отношению к англоязычным странам). 2) Совокупность жаргонизмов, составляющих слой разговорной лексики, отражающей грубовато-фамильярное, иногда юмористическое отношение к предмету речи. [...] С. состоит из слов и фразеологизмов, к-рые возникли и первоначально употреблялись в отд. социальных группах, и отражает ценностную ориентацию этих групп. Став общеупотребительными, эти слова часто сохраняют эмоционально-оценочный характер, хотя „знак“ оценки может измениться...» Тем самым, сленг определяется в отношении разговорной речи, т.е. литературного языка, характеризуясь признаком общеупотребительности и специфической эмоциональной оценочности, следующей из ценностной ориентации отдельных социальных групп — носительниц соответствующих жаргонов. Достаточное для первого приближения определение различий того и другого.

² О парадигмах знания применительно к мировоззренческим, в том числе и лингвистическим, представлениям, см., напр.: С. Гроф: *За пределами мозга. Рождение, смерть и трансцен-*

минов зависит от выбора объекта исследования, научной традиции, направления, характерных для них восприятий, интерпретаций, употреблений, не меняя существенным образом уже устоявшегося.

Однако, не то чтобы в нарушение традиции, а из желания пойти дальше и посмотреть на объект с еще одной стороны, имеет смысл представить некоторые понятийно-терминологические ориентиры предлагаемого рассмотрения. Не для того, чтобы сказать что-то новое, предложить свое понимание, добавить к имеющемуся, объяснить, прояснить, а потому, что, поскольку в этом вопросе обнаруживает себя слишком явная разногласия, имеются кардинально бросающиеся в глаза разномнения и разночтения, представить более ясно ту позицию и тот взгляд, который созвучен и более близок. Может быть, потому что более отстоялся и уложился, по некотором размышлении, в голове. Ибо для того, чтобы что-то имеющееся переменить, недостаточно, видимо, только переходить с одной позиции на другую, переставляя что-то внутри, необходимо найти и увидеть в предмете то, что, составляя его природу и сущность, не было перед этим замечено и учтено при его описании. Или было замечено, но при описании не было учтено. Бывший предметом внимания в настоящей работе объект представляется именно таковым. Есть в нем нечто такое, что, будучи принято при описании, может существенным образом повлиять на его (описания) характер и вид, но это нечто в нем не было при описании учтено, хотя звучало, встречалось, чувствовалось у разных его исследователей.

Вернемся, однако же, к представлению ориентиров. Намеренно избегая подробных и обстоятельных рассуждений, важных и нужных для специально этому посвященного рассмотрения, наметим пунктирно, именно как ориентиры, лишь некоторые исходные основания. Не для знакомства с ними и новизны. Для порядка.

Прежде всего, те понятия, которые вынесены в заглавие — сленг и жаргон, точнее, жаргоны и сленг, ибо это существенно. Без объяснения на данном этапе приписываемых им нами способов оформления значений, которые будут их, по нашему представлению, различать и которые были объектом данного интереса, но как понятия более или менее общепринятые. Далее близкое им, иногда замещающее, нередко смешиваемое (но, может, не в этом дело и суть?), арго. И еще просторечие — как дающее возможность увидеть различия и сходства того и другого. Остальные понятия и термины, покрывающие область внелитературного и вне народных говоров бытования языка, такие, как социолект, диалект, интердиалект, наддиа-

денция в психотерапии. Москва 1993; Е.С. Кубрякова: *Парадигмы научного знания в лингвистике и ее современный статус*. «Известия РАН». Сер. лит. и яз. 1994, № 2; Е.С. Кубрякова: *Эволюция лингвистических идей во второй половине XX века: опыт парадигмального анализа*. В: *Язык и наука конца XX века*. Москва 1995; А. Якимович: *Парадигмы XX века*. «Вопросы искусствознания» 1997, № 2.

лект, койне, интержаргон, не говоря уже об оформленных словосочетаниями и потому как бы и уточненных, условный, тайный, профессиональный язык (жаргон, диалект, арг), нами рассматриваться не будут. Не потому, что они того не заслуживают, а потому, что не в представлении своего понимания различных форм языковой социовариантной системы состояла идея работы и ее смысл, а в поиске того основания, которое может каким-то сущностным образом их различать. Основания не единственного, но имеющего значение, которое, при определенном интерпретирующем взгляде на изучаемый предмет, близком идее работы, можно было бы положить, как ведущее и вводящее, в вершину всего понятийного построения о том, что есть, что используется и фигурирует как социальные варианты, или «языки» подстандарта.

Итак, сленг будет восприниматься нами как такая форма современного бытования русского языка, которая имеет, по крайней мере для него, сравнительно непродолжительную историю. Оформляется сленг, как самостоятельная и очевидная форма, по-видимому, к концу 70-х — началу 80-х годов XX века, начиная складываться с середины 50-х и отражая в своем, мотивирующем этот процесс, проявлении отношение неприятия, как это принято определять, сложившихся, но не столько общественных, т.е. действительно существующих в данном обществе, сколько официально одобренных, навязываемых и пропагандируемых, т.е. изображаемых и представляемых как единственно возможные, допустимые и действительные, социальных и политических, норм. Русский сленг тесно связан со сложившейся социально-психологической и не меняющейся на лучшее обстановкой, отражая фрустрирующий и неуклонно растущий процесс общественного неверия в какие бы то ни было идеалы, накапливаемых и не находящих выхода разочарований, обманутых бесплодных надежд, беспомощности, безнадежности, суежливого быта и постоянного бега в поисках необходимого, всепроникающей нищеты, переходящих в цинизм, ерничество, не сходящую с уст насмешку, (само)издевку, (само)иронию, переворачивание, пренебрежение, бесшабашное шутовство, скоморошество и ругательство над всем и над всеми, в том числе над собой, в постоянный и неизменный раск, а с добавлением типично советского и постсоветского безразличия, равнодушия, профанирующего всё пренебрежения и жесткости, в так называемый стёб. Что, в своей совокупности, отражает внутренне глубоко упрятываемый, но раздражающий и ощущаемый, разлад, распад социально-психологических связей с другими, со своим окружением, с обществом, и служит одновременно формой ухода и формой защиты травмированного и пренебрегаемого «я». Из этого следуют формы и механизмы русского сленга, на этом они построены и в этом, по-видимому, состоит, и необходимо искать поэтому, его суть. То есть, тем самым, русский современный сленг можно было бы определить как вербально-компенсаторную форму социального, переживаемого психологически,

вытеснения — следствия невозможности несостоявшейся самореализации коллективного речевого субъекта.

С точки зрения языкового материала сленг, являясь системой открытой, взаимодействует с различными социовариантами. В условиях современного русского языка это, помимо его нормативного варианта, в первую очередь разговорной речи, также такие внелитературные формы, как просторечие, жаргоны, народные говоры, относясь к ним особым образом — как к материи, подвергающейся переработке. В начальной фазе своей, т.е. с середины 50-х годов, а во многом также впоследствии, с точки зрения языкового материала, сленг формируется под сильным влиянием лагерного и уголовных жаргонов, что не могло не сказаться на его эмоционально-коннотативном и психологическом облике. Едва ли не определяющей характеристикой сленга является его **преобразующее** генерирующее начало, связанное с переосмысливанием, переименованием, переворачиванием, языковой игрой, выполняющими функции измененного, эмоционально и экспрессивно заряженного, коллективно-субъективно активного отношения к действительности и предмету речи. По этой причине многое взятое и заимствованное в сленг из других речевых вариантов и форм выглядит в нем по-другому, будучи преобразовано, переименовано, изменено.

К этому следовало бы добавить еще одну важную, как нам представляется, особенность. Особую роль современного русского сленга в отношении к литературному языку конца XX—начала XXI века. Роль, которую можно было бы определить понятием почвы обогащения. Живой литературный язык, как известно, в своем постоянном взаимодействии с другими формами и вариантами национального языка, влияя на них, развивается и обогащается, получая живой материал и динамический импульс от них. Некоторые из них, обычно одна как ведущая, выступают в качестве определяющих этот процесс, т.е. в качестве почвы обогащения. В XIX веке почвой такого обогащения для русского литературного языка, как полагают, были народные говоры. XX век, начиная с 20-х годов, полностью изменив социальную структуру общества, заменил, соответственно, и почву обогащения литературного языка. Ей становится просторечие, определяемое термином городское. Процессы конца предшествующего столетия, коснувшиеся в немалой степени и языка, позволяют судить об изменении не только публичной, официальной формы литературного языка, что можно бы признавать состоявшимся фактом на основании свидетельств большого числа исследователей современной языковой ситуации³, но и об изменении почвы обогащения литературного языка — от городского просторечия к современному русскому сленгу. В этом, как нам представляется, и состоит специфика происходящих в языке

³ Достаточно вспомнить определяющую для данной темы работу *Русский язык конца XX столетия (1985—1995)*. Ред. Е.А. Земская. Москва 2000 (см. также литературу при ней).

изменений рубежа веков. Сленг становится для русского литературного языка последнего времени тем тиглем, в котором, смешиваясь, перерабатываясь, проходят свою апробацию и предварительную обработку те, лексические и фразеологические в первую очередь, явления, которые затем попадают в разговорную речь как в нижний этаж литературного языка, а с этим в средства массовой информации, в публицистику, в современную беллетристику. Тем тиглем, роль которого в XX веке играло городское советское просторечие, а в XIX-м — **народные говоры, т.е. крестьянская речь российской деревни**. Высказанное предположение требует серьезных обоснований и доказательств, на которые здесь нет ни возможности, ни достаточно места, впрочем, это и не было целью предпринятого рассмотрения. Ограничимся, пусть не доказанным, утверждением, следующим, однако, из наблюдений над материалом и осмысления литературы вопроса, с тем только, чтобы представить позицию и показать, подчеркнуть ту роль, которая, как представляется, характерна в современной языковой ситуации для русского сленга.

Жаргон можно было бы интерпретировать в русле сказанного как такую форму бытования языка, которая, в отличие от сленга, связывается не только и даже не столько с позицией компенсаторного и замещенного отношения к прокламируемым, официально и пропагандистски оформленным общественным нормам, сколько со специфической, более или менее замкнутой, формой коллективного, группового существования и(ли) деятельности. Таким образом, если сленг представляет собой позицию, идеологию и эмоцию, переживание в рамках общего социально-общественного бытия, противясь ему и его переиначивая, но в этом своем противлении неизбежно его и приемлющего, иначе не было бы чему противиться, что переворачивать, от чего отказываться и что не принимать, то жаргон — не позиция в рамках общего, а свое, обведенное собственными границами, рамками бытие. Отсюда, в зависимости от характера этого бытия и связанной с этим деятельности, возможны различные для разных жаргонов (типов жаргонов) типы и виды позиций и отношений к обществу в целом, его институтам, отдельным слоям, представителям, группам, какому-то непосредственному и актуальному социальному окружению. От индифферентно-нейтральных (у представителей общественно одобряемых профессий) до изолирующих и сигнальных (скажем, у школьников, молодежи) и замкнуто-противопоставляемых, асоциальных форм (языки деклассированных).

С этим различием жаргонов связывается различное отношение, проявляющее себя в языковом материале. Как с точки зрения номинативной позиции, характера оформления значения, так и с точки зрения выбора, т.е. характера отбираемого материала. Объединяющим для всех жаргонов можно было бы считать позицию не преобразующего, как в сленге, а **предицирующего** отношения к номинативному материалу и, тем самым, к действительности. Предицирующего — в смысле устанавливаемого субъектно-активного,

действующего, воздействующего (но не взаимодействующего), отношения к предметам речи, действительности и названия⁴. Но предидирующего по-разному, поскольку далее внутри жаргонов начинаются отличия, обусловленные типом и видом жаргонного проявления, характером бытования его носителей и их отношения к актуальному окружению и общественному бытию.

Арго как термин, необходимо оговориться, прежде чем как-то его определить, соотнеся с предыдущими, в данной работе не будет использоваться. В силу различных причин. Как в связи со своей смысловой разбросанностью и признаваемой рядом исследователей пейоративностью, традиционной связанностью с преимущественно уголовной средой, так и, самое главное, в связи с тем, что неясным видится в отношении к нему избранный нами в качестве предмета для рассмотрения объект — лексическое значение слова, характер его оформления. Дело в данном случае, конечно, не в термине, а в том, что за ним видеть и что ему приписать. Арго, в одном своем традиционном случае, понимается как социолект, социально-профессиональная форма существования языка, в противоположении, с одной стороны, литературной форме, с другой — диалектным формам, т.е. народным говорам. В другом, — как уголовная речь, речь деклассированных элементов. В первом своем понимании, но расширенно, напр. у В.С. Елистратова⁵, арго интерпретируется как всякая форма существования и бытования языка, имеющая своих носителей⁶, и как система-инвариант, порождающая из себя многочисленные варианты⁷. То есть как арго-инвариант и как арго-варианты, в их многообразных проекциях. Равняясь, тем самым, таким понятиям, как социолект, социальный вариант языка, жаргон, профессиональный жаргон.

⁴ Применительно к воровскому жаргону Д.С. Лихачев (1935 г.) определял это представлением о магической функции, противоположной интеллектуальной, связывая ее с коллективной эмоцией, пронизывающей коллективные представления и отождествлением в сознании говорящего предмета и слова. Д.С. Лихачев: *Черты первобытного примитивизма воровской речи*. В: Д.С. Балдаев, В.К. Белко, И.М. Исупов: *Словарь тюремно-лагерно-блатного жаргона. Речевой и графический портрет советской тюрьмы*. Москва 1992, с. 366. То есть, добавим от себя, своего рода заряженностью обозначаемого словом предмета реальной действительности субъектным (коллективно субъектным) к нему эмоционально-регулирующим и воздействующим отношением, определяя это представлением о воровском слове как об орудии. Там же, с. 361.

⁵ В.С. Елистратов: *Арго и культура*. В: Он же: *Словарь русского арго (материалы 1980—1990-х гг.)*. Москва 2000.

⁶ От семьи, отдельного индивида, до профессиональных и социальных групп, в том числе и таких форм, как койне и литературный язык — «нормативное арго», «т.е. арго определенной части общества, взявшей на себя ответственность нормировать язык» (В.С. Елистратов: *Арго и культура...*, с. 581).

⁷ Как «инвариантную систему порождения многочисленных вариантов», трактуя арго как своего рода живой организм, «культуру в ее динамическом развитии. Арго — это язык людей, которые находятся в процессе творения культуры» (Там же, с. 581, 582).

Признавая возможность подобного толкования, можно было бы установить не полностью совпадающие, но соотношения терминов «говор» и «диалект», с одной стороны, «жаргон» и «арго», с другой, представив себе, что понятие жаргон так относится к понятию арго, как понятие говор к понятию диалект. Первое соотношение представляет проекцию социально-профессионального, а также возрастного и гендерного, второе — территориального (оба в пространстве и времени) состояния языка. В этом случае либо излишними становятся термины «жаргон» и «говор», а существующие социально-профессиональные и территориальные речевые формы можно определять как такое-то арго (арго студентов, школьников, уголовное, музыкантов, железнодорожников и т.п.), согласно носителям⁸, и, соответственно, такой-то диалект (деревни Медведково, станицы Вешенской), либо, что, видимо, более обоснованно, а в отношении пары диалект — говор и принято (почему бы не перенести это и на пару *жаргон* — *арго*?), терминологически различать. Жаргон и говор использовать в отношении конкретной формы, проекции-варианта, арго и диалект — в отношении инвариантов, противопоставляемых общенародным, скажем так, универсализирующим, объединяющим, национализирующим формам языкового существования, обозначаемым терминами койне, просторечие, интержаргон, интердиалект, наддиалект, и, наконец, разговорная речь, литературный язык. При такой постановке вопроса термины *арго*, *диалект* следовало бы понимать как слова, называющие понятия, но не явления, не феномены, не живые формы вариантного бытования языка.

В этом случае избранные нами в качестве рассмотрения жаргоны и сленг можно было бы интерпретировать как живые проекции арго-состояния как инварианта: сленг — как конкретную форму речевых проявлений носителей русского литературного языка, параллельную и одновременную к разговорной речи (литературному просторечию⁹); жаргоны — в их общей, охарактеризованной ранее нами природе, ко множеству себя проявляющих групповых языков (как говоры). Сленг тогда можно было бы определять и рассматривать, с одной стороны, как арго современных носителей литературного разговорного языка, а с другой, как такой же, по сути, жаргон (= проекцию арго как инварианта). Но тогда бы терялась связь охарактеризованной нами пары арго — жаргон как социально-профессиональной (ин)вариантности и затиралась объединяющая, национализирующая природа и роль современного русского сленга. Терялась бы также и та особенность, которая станет предметом дальнейшего рассмотрения — различающий обе формы (жаргоны и сленг) способ оформления лексического значения, связанный с различием

⁸ См. подобное представление арго у В.С. Елистратова.

⁹ Существует также термин *литературное просторечие*, для обозначения сниженной формы литературного разговорного языка, как его нижний регистр (см. определение просторечия, с представлением также литературного, в *Лингвистическом энциклопедическом словаре*...).

их внутренней организации, следующим из различия отношения к называемому, определенному нами как преобразующее для сленга и предиктирующее в отношении жаргонов.

Просторечие не было объектом данного рассмотрения, однако есть смысл объяснить его понимание. Традиционно, и мы не будем от этого представления отступать, просторечие, с уточнением городское, определяется как речь городских низов, не являющихся носителями литературного языка. Со сленгом его, тем самым, объединяет универсализирующий и общенациональный характер, а также, во многом, характер негативированного (не всегда негативного) либо индифферентно-отдельного отношения к норме-стандарту, т.е. подстандартность, и материал, хотя и по-разному заряжаемый и обрабатываемый. Различает — характер и тип носителей, а также, что из этого и вслед за этим следует, совершенно различный способ коммуникативного взаимодействия и интересующего нас отношения, проявляемого в способе оформления значений слов. О просторечном характере подобного оформления мы говорить не будем, это особая тема, необходимо только сказать, что просторечие представляет не только понятие, но и обозначает явление¹⁰, определенный феномен существования и бытования языка, как сленг, как жаргоны, как говоры. То есть стоит в ряду этих понятий, а не таких, как аргó или диалект.

Исходным критерием различения интересовавших нас жаргонов и сленга как форм современного бытования русского языка будет, как уже говорилось, способ оформления лексического значения слова, представляющийся различным для тех и другого в том отношении, которое следовало бы объяснить, показав это на материале. Речь идет в данном случае о жаргонах и сленге как о действующих системах порождения и восприятия смысла языковых единиц. Отношение к слову как средству обозначения объектов, явлений действительности и одновременно с этим как к способу передачи своего эмоционального представления о них в жаргонах и сленге не просто различны. Они являются следствием двух не соотносимым образом действующих позиций, охарактеризованных как преобразующая для сленга и предиктирующая для жаргонов. Что, в свою очередь, является отражением принципиально различной природы взаимодействующего с действительностью и проявляющего себя своими действиями в ней, испытывающего обратное действие как воздействие с ее стороны, субъекта в жаргоне и наблюдающего, характеризующего, описывающего и оценивающего действительность и свое окружение субъекта сленга. Первое отношение можно было бы обозначить как парти-

¹⁰ О чем, вне всяких сомнений, свидетельствует литература вопроса, см. напр. специально этому посвященные разработки, а также литературу при них: *Литературная норма и просторечие*. Москва 1977; Е.А. Земская: *Русское просторечие как лингвистический феномен*. «Československá rusistika» 1983, Т. 28, № 5; *Городское просторечие: Проблемы изучения*. Москва 1984; *Разновидности городской устной речи*. Москва 1988; В.В. Колесов: *Язык города*. Москва 1991.

ципацию¹¹, второе — как обсервацию, применительно к позиции речевого субъекта. Слово в жаргонах и сленге, будучи не соотносимым образом оформляемой смысловой единицей, даже если оно имеет общее, совпадающее значение, называя одно и то же, представляя различные механизмы означивания, будет только по внешнему облику походить на себя. То же самое внешне значение как целое, как семантема, в составе своих оформляющих компонентов, представляет собой не одно и то же для сленга и в сленге, с одной стороны, и для жаргона, в жаргоне, с другой. Можно было бы это выразить различием сигнификативной и коннотативной сторон значения при совпадении денотативной, но, как нам представляется, денотативно-объектная сторона, попадая в пучки различного для себя оформления, также в немалой степени оказывается смещена.

Исследователи семантики жаргонного и сленгового слова отмечают его диффузность, неточность, конкретность, привязанность к ситуации, многозначность, детализованность, синтетичность¹². В немалой степени это может быть связано с устной формой спонтанной, неподготовленной, поскольку неофициальной и непосредственной, речи — общего свойства таких проявлений, как просторечие, разговорный язык¹³, а не только жаргоны и сленг. Слово в речи спонтанного, непосредственного и неофициального контакта, несомненно, будет иметь нечто общее в характере смыслового своего оформления независимо от того, каким оно предстает — разговорным, просторечным, сленговым или жаргонным, поскольку это, прежде всего, слово в семантике употребления, не словаря. Однако не это было предметом данного рассмотрения, слово не употребления, а как раз словаря, в том условно отвлеченном и обобщенном виде, который словари представляют (жаргонов и сленга в данном случае). В этом, вместе с тем, нет нарушения смысловой природы интересующего нас слова и препятствия к рассмотрению того, о чем пойдет речь. Поскольку слово жар-

¹¹ О партиципации, партиципирующем, т.е. участвующем и анимистически заряжаемом, взаимодействии с объектами реальной действительности как свойстве первобытного, пралогического сознания, с определением данного термина, пишет в своем исследовании Л. Леви-Брюль: *Первобытное мышление*. Москва 1930.

¹² По замечанию Д.С. Лихачева, «воровское слово обширно по содержанию и бедно по объему... воровской язык представляет редкий образец совершенно не стабилизированной и диффузной семантики» (Д.С. Лихачев: *Черты первобытного примитивизма...*, с. 370). Говоря о значениях арготизмов, В.С. Елистратов отмечает такую особенность: «Арго — это ненормативный язык, и каждый арготирующий свободно вкладывает в слова и выражения свой смысл, свои оттенки. Отсюда — проблема разграничения окказионального и узуального, проблема более или менее «точного» толкования» (В.С. Елистратов: *Арго и культура...*, с. 577).

¹³ Определяемых в польском языкознании термином *kategoria potoczności*. См. специально посвященную этой проблеме работу: J. Warchała: *Kategoria potoczności w języku*. Katowice 2003 — Там же литературу предмета. А также такие монографические исследования, как *Русская разговорная речь*. Ред. Е.А. Земская. Москва 1973; Е.А. Земская, М.В. Китайгородская, Е.М. Шираев: *Русская разговорная речь. Общие вопросы. Словообразование. Синтаксис*. Москва 1978.

гонов и сленга будет интересовать не как слово употребленное, сказанное и обусловленное в своем значении ситуацией, коммуникативными обстоятельствами, а как смысл в его оформлении, с точки зрения порождения компонентов лексического значения как формы, носителя передаваемого и воспринимаемого смысла. То есть как слово, точнее его значение, препарируемое, раскладываемое на составные части, мотивирующие его природу и объясняющие его особенности, проявляемые затем в употреблении.

Процесс этот, впрочем, возможно рассматривать в обе стороны. Употребление слова в речи не отображает исходное значение, существующее как словарное в голове, скорее, напротив, значение, представляемое как словарное, есть отражением некоторым образом интерпретируемого, признаваемого типичным употребления, размытость, диффузность, неточность которого признается свойством значения слов подстандарта. Любопытными и показательными в указанном отношении представляются приводимые В.С. Елистратовым примеры характерных для профессиональных аргослов, которые «выражают некие «сквозные» смыслы, присущие понятийным системам всех групповых языков»¹⁴. В качестве иллюстрации он дает слово *чайник* «невыгодный посетитель в заведении» (у официантов), «начинающий плохой водитель» (у шоферов), «физкультурник-любитель» (у спортсменов), «графоман» (у издателей) и т.п., определяя на этой основе общую идею, передаваемую данным словом и, видимо, тем самым, каким-то образом в нем заложенную, — «не свой, не соответствующий необходимым требованиям». Вторым примером дается *рыба*, передающее идею «заготовка, шаблон, нечто, с чего можно начинать работу». «Отсюда в разных аргослов такие значения, как «музыка, на которую нужно положить слова», «шпаргалка», «пустой бланк», «образец детали» и т.д.»¹⁵ Объясняет он данное явление тем, что «профессиональные аргослов совместно вырабатывают арготизмы, передающие ключевые смыслы»¹⁶, оговаривая, правда, перед этим, что многие подобные интерарготизмы имеют, в качестве общего и исходного в русской языковой ситуации, воровское происхождение¹⁷. В этой связи остается открытым вопрос — (1) является ли

¹⁴ В.С. Елистратов: *Аргослов и культура...*, с. 653.

¹⁵ Там же.

¹⁶ Там же.

¹⁷ Д.С. Лихачев нечто подобное отмечает и в отношении воровского жаргона: «Семантический распад, возврат к диффузному состоянию, к нестабилизированной семантике имеет своим результатом частые переходы слова от одного значения к другому». Д.С. Лихачев: *Черты первобытного примитивизма...*, с. 371. Объясняя это наличием очень конкретной первоначально, но впоследствии вытесняемой, забываемой связи (партиципирующего характера, если использовать термин Л. Леви-Брюля) и формирующегося на этой основе метонимического, связующего все эти значения, смысла, а также, возможно, и общего метафорического образа, сопровождаемого общей эмоцией. Множественность этих не очевидным и непонятным образом (в его неизвестной первоначальной конкретности) связываемых значений, как следует из его рассуждений, и порождает трудности их определения, разграничения и объяснения в их связях и мотивации.

указанная особенность профессиональных жаргонов (мы будем использовать этот термин) тем, что они имеют, по его словам, «первоочередной задачей именно выработку чисто системного обслуживания речи подобными «сквозными» понятиями»¹⁸; (2) тем, что заимствуются из одного жаргона в другой, кочуя и переходя, на основе общегородского арг (т.е., в нашем понимании, для современной языковой ситуации, сленга) и происходят из общего «воровского» источника; (3) сочетанием того и другого, т.е. стремлением к выработке неких сквозных, ключевых понятий на основе общего для всех материала, или, возможно, (4) не исключаяющим третье действием некоторого общего механизма означивания, предполагающим первоначальное существование обобщенного, не до конца уточненного и определенного, диффузного синкретичного образа-смысла, способного к уточнению в реализациях, как то, что присутствует первоначально в свернутом виде, являясь неопределенным и общим, но способным в дальнейшем к развертыванию и уточнению.

Насколько это явление характерно только для профессиональных жаргонов, а насколько является общим всем прочим формам и в целом для языка, судить предварительно, без обращения к широкому материалу, трудно. Но для жаргонов и сленга оно характерно и отмечается в литературе вопроса как взаимодействие, заимствования и взаимовлияние этих форм языка. Попробуем подойти, однако, к данной проблеме с другой стороны, предположив не только взаимодействие и влияние, отрицать которые не было бы никаких оснований, но и наличие некоторого образно-смыслового ресурса, заряженного и динамичного, что допускало бы, помимо прямого заимствования, активизацию на основе индукции с выработкой внутри себя чего-то подобного, но своего, а также способность производить нечто собственное, совпадающее, по закону подобия действия в аналогичных системах, в своих реализациях-результатах. Во всяком случае имеет смысл отвлечься от вопроса, связанного с определением, что от чего в том или ином жаргоне, а также в сленге взялось, посмотрев на процесс означивания изнутри, полагая, что, если данное значение в данной системе имеет место, его наличие там мотивируется не только влияниями извне, но и природой самой системы.

Возьмем для примера и для начала некое общее для сленга и воровского жаргона слово (материал рассматривался на примерах этих форм современного языка). Скажем, *дятел*. В сленге это 1. Доносчик, стукач, ябеда. 2. Молодой солдат, обучающийся профессии связиста; связист. *Служить ~тлом*. 3. Дурак, тупица. *Полный ~*. 4. Тот, кто печатает на машинке, компьютере. 5. *Ирон.* обращение к любому человеку¹⁹. В уголовном жаргоне 1. Жертва преступления, потерпевший. 2. Кляузник. 3. Осведомитель, доносчик. 4. Активный гомосексуалист. 5. Тяжкое оскорбление у блатных (см.), в ИТУ²⁰.

¹⁸ В.С. Елистратов: *Арго и культура...*, с. 653.

¹⁹ Он же: *Словарь русского арго...*

²⁰ Д.С. Балдаев, В.К. Белко, И.М. Исупов: *Словарь тюремно-лагерно-блатного жаргона...*

Если предположить заимствование в сленг из жаргона, что было бы и привычно, и общепринято, то следовало бы говорить об одном таком непосредственно перешедшем значении, может, двух — 3-м и 2-м, ставших единым и 1-м в сленге. Иными словами, то, что в жаргоне было не первое, становится, для данного случая, в сленге первым и основным. Мало этого, то, что в жаргоне воспринимается и фигурирует не совсем как одно и то же — осведомитель, доносчик и кляузник, то в сленге может не различаться — доносчик, стукач, ябеда. Явление, которое определяется как расширение значения, обобщение, депрофессионализация при переходе жаргонного слова в просторечие, разговорный язык или сленг как не специализированные и общие формы речи. 2-е значение в сленге определяется как заимствуемое из армейского лексикона (жаргона, аргю). 3-е сленговое можно интерпретировать как расширение 1-го уголовного, а можно, и, может быть, это будет вернее, как индуцированное этим в уголовном жаргоне 1-м и для него основным. Таким же индуцированным можно было бы рассматривать 5-е в сленге (под действием 5-го уголовного). 4-е в той и другой форме речи следовало бы, по-видимому, рассматривать как значения не соотносимые, по крайней мере достаточно отдаленные, даже если с некоторой натяжкой предположить объединяющее их эмоционально-воздействующее субъектное отношение.

Теперь посмотрим на все это с иной стороны, оттолкнувшись от общего представления, общего образа-впечатления, заключенного в мыслеформе (термин Л.С. Выготского²¹) *дятел*. По замечанию Д.С. Лихачева, воровской речи свойственно четкое эмоционально-экспрессивное групповое коллективное разграничение своего и чужого, с приподнятостью, патетичностью в отношении своего и презрением, приниженностью для чужого²². Потенциальная жертва как объект преступления, согласно первобытным охотничьим представлениям, характерным для воровской психологии²³, всегда и объект презрения²⁴: *дятел* первого своего значения. Смыслы последующих четырех

²¹ См.: Л.С. Выготский: *Мышление и речь*. В: Он же: *Избранные психологические исследования*. Москва, 1962.

²² «Эмоционально-экспрессивная форма воровской речи передает исключительно групповое коллективное отношение. Либо явление или предмет признается «своим» и, следовательно, заслуживающим одобрения, даже героическим, либо он признается чужим, опасным, и тогда экспрессия отрицательна». Д.С. Лихачев: *Черты первобытного примитивизма...*, с. 368. «Вор, как и первобытный человек, делит весь мир на две половины: „свою“ — добрую и „чужую“, „фраерскую“ — злую. ... для вора ... к борьбе „своего“ и „чужого“ сводятся все социальные взаимоотношения. В эту борьбу вор отчасти включает и неодушевленные предметы [...]. Соответственно и «Все слова своей речи вор делит на „свои“ и „не свои“. Об определенных вещах можно говорить только в определенных, принятых выражениях». Там же, с. 364.

²³ Магическая сторона воровского сознания, отображаемая в особенностях устройства слова для Д.С. Лихачева.

²⁴ Ср., к примеру, противоположно заряженные «...кугут» — основное значение „крестьянин“; слово заключает в себе презрительное отношение к крестьянину, как бы указание на то, что такого человека легко обокрасть, имеет насмешливый оттенок; „жиган“ — лихой вор, во-

значений²⁵ не могут быть, с учетом единства эмоционально-психологического отношения и общего когнитивного образа, заряжены как-то иначе. Об этом наиболее ярко свидетельствует последнее, 5-е, определяемое как тяжкое оскорбление у блатных, смысл которого, не зная конкретно, трудно установить, но можно было бы попытаться вывести или почувствовать на основе всего предшествующего. Диффузность, неточность воровского значения в данном случае не исключает подобного способа представления.

Для операции подобного рода можно было бы представить покрываемую область значений *дятла* как некое смысловое и эмоциональное целое, а проецируемые им пять значений — как проективные сферы, подобласти, обуславливаемые параметрами конкретизации. Интересующий нас процесс оформления, или формирования, порождения значений, тем самым, выглядел бы как наведение эмоционально-когнитивной области *дятла* на обозначаемые объекты действительности, в данном случае типы людей, как своего рода сигнальные представления-ориентиры²⁶. Все эти обозначаемые данным словом объекты следует определять в сфере презируемого не своего. Однако это слишком широкая сфера потенциально реализуемых представлений, чтобы быть свойственной понятийной области, определяемой словом. Необходимы дальнейшие уточнения. Первым таким уточнением было бы отношение к референтно-характеризующей части — тому, какого рода характеристику называемого субъекта-лица (субъектов) данное слово передает. Принимая в расчет предизирующую особенность воровского жаргона, можно бы было увидеть во всех 4-х значениях (также 5-м, с опорой на общее, однако 5-е не определено) такой характер действия, осуществляющего себя в отношении называемых лиц, который воспринимается как выводящий за рамки принятых в данной среде представлений о чести и воровском достоинстве, а потому делающий их презируемыми, избегаемыми, неприкасаемыми, своего рода объектом табу для вора²⁷.

Определялся бы этот характер действия (1) в отношении реализуемой или реализованной уже²⁸ **направленности** на характеризуемого им субъекта-лица

ровской герой, наделенный всеми „блатными” достоинствами; слово заключает в себе оттенок восхищения, одобрения. Почти все воровские слова обладают этой эмоциональной оценкой». Д.С. Лихачев: *Черты первобытного примитивизма...*, с. 365.

²⁵ Не будем подвергать сомнению их различие, апеллируя к диффузности и синтетичности воровского слова, приняв, для возможности дальнейшего рассуждения подразделение, предлагаемое словарем.

²⁶ О сигнальной функции воровской речи пишет и Д.С. Лихачев: «Связь, устанавливаемая воровским словом, всегда односторонняя: либо это сигнал, либо это в той или иной форме выраженное понуждение». Д.С. Лихачев: *Черты первобытного примитивизма...*, с. 361.

²⁷ *Западно* на их языке.

²⁸ Потенциально или реально — как жертва возможного или уже совершенного над ним преступления, т.е. как потерпевший, но, может быть, что не исключено, и как только второе, т.е. как уже совершенное действие, и словарь дает одно значение, с уточнением во второй части определения (1. Жертва преступления, потерпевший).

как испытывавшего соответствующее воздействие, воплощенное в нем как в **объекте** и **результате** нанесения, причинения ему вреда, лишения того, что его, чем он обладает и что ему принадлежит (материально и нематериально²⁹), в связи с чем как в объекте совершенного над ним унижения, насилия, оскорбления, нарушения сферы его приватной цельности и неприкосновенности, — своего рода пробитый, отмеченный совершенным над ним, понижающим его в статусном его состоянии, действием объект (1-е знач. ‘жертва преступления, потерпевший’); (2) в отношении совершаемого субъектом и соответствующим образом характеризующего его действия как более или менее постоянно осуществляющего себя **процесса**, связанного с перенесением, передачей унижающей его в глазах воровской среды информации, да еще и по старшим и(ли) по начальству (2-е знач. ‘кляузник’), нарушающей замкнутость, непроницаемость для посторонних и тех, кого это прямым образом не касается, воровских ситуаций и обстоятельств, делающей из него, представляющей его как (а) неспособную себя защитить, за себя постоять или покорно сносить, потенциальную или реальную жертву, объект унижения и насилия, либо (б) агента не одобряемого, осуждаемого нарушения, пересечения, вынесения за пределы четко очерченных, замкнутых, не пересекаемых границ; (3) так же как и в предыдущем случае (но только для б) — в отношении совершаемого субъектом процесса перенесения, вынесения за пределы и передачи не подлежащей, не допустимой к этому информации, но к этому еще и **процесса**, актуализированного к **источнику** и **результату** — важно, что именно переносится, какого характера сведения, и то, что они до уха начальства доносятся, ему сообщаются, начальство об этом, в результате осуществляемого данным агентом действия, узнает (3-е знач. ‘осведомитель, доносчик’); (4) так же как и предыдущий, **агент** совершаемого действия, связываемого с нарушением сферы (см. 3), но сферы приватного, насилием, унижением (как в 1), оскорблением, понижающим (бесповоротно и неотвратимо) статус того, над кем оно производится, действия, его самого при этом как бы, как жертву, и не унижающего, в силу того, что он его производит, а не над ним оно произведено, не переводящего его в положение пострадавшего, потерпевшего, с нарушенной цельностью и пробитого, но делающего его неприкасаемым и презираемым в силу иного сопровождающего совершаемое им действие представления — в силу марающего его приобщения к грязному, к низу, к тому, что и есть воплощенное *западло*, материализованная его

²⁹ Воровство, преступные действия в отношении того, над кем они совершаются, не только и даже не столько лишают его материальных, украденных у него предметов в глазах воровской среды, сколько, с одной стороны, делают его тем, кто дал, дает себя обойти, обокрасть, т.е. доступным, объектом, охотничьей жертвой, а с другой, переводят его в статус «униженных и оскорбленных», тех, кого надлежит и кто заслуживает того, чтобы его обокрасть, побить, подлежащих воровскому воздействию, обработке, положенных, а «положенных бьют», по армейской, замешанной на уголовной эмоции и психологии, поговорке.

в своем пачкающем, переходящем на прикасающегося к нему начале, в самой его сути и очевидной субстанции (4-е знач. 'активный гомосексуалист').

В определенном смысле это 4-е можно было бы трактовать как воплощение основного значения того эмоционально-понятийного целого, которое характеризуется *дятлом*. Основного в том отношении, что представляет действующего, являющегося носителем избегаемых, неприемлемых, резко отвергаемых свойств, определяемых данным словом. Определяются эти свойства его отношением к закрытому, замкнуто-цельному, существующему в себе для себя, не пересекаемому и не нарушаемому. Нарушение, пересечение, вынесение из этого замкнутого и цельного делает действие, если оно направлено на объект вне своей воровской среды, заряженным как опасное и унижающее (последнее в отношении объекта) и марающим, пачкающим, в отношении совершающего его субъекта, если оно производится внутри воровской среды. Дятел, как мотивирующий образ, заложенное в нем представление, связывается с такими соотносимыми представлениями-образами, но уже не только для воровского жаргона, как дерево (тело как человек, как объект), дупло, отверстие, дуло, дыра, поддувало (ср.: *закрой свое поддувало*, т.е. рот), долбить, долбила (тот, кто долбит), долото, влетать, вылетать, входить, исходить, пересекая границы через отверстие (как звук, слова изо рта, ветры, газы из заднего прохода, а также испражнения, кал, говно). Дятел, тем самым, имея соотношение с низом тела, с тем, что выносится из него, выходит наружу, но что также может, в неприглядном и презируемом ворами случае, внутрь него войти, становится в ряд с такими грубо-вульгарными представлениями, оформленными в словах, как *жопы* (о человеке негодном, гадком, бессовестном, неумелом, бездарном), *пердеть* (говорить, сообщать, доносить), *вонять* (в тех же значениях, а также вести себя недостойным, омерзительным образом), *испражняться* (говорить впустую и не о чем, упражняться в красноречии и зубоскальстве), *долбать* кого (доводить до бесчувствия приставаниями, разговорами, надоедать, первоначально стуком, ударами обо что-нибудь, в воровском жаргоне — изучать, учиться; ругать, отчитывать; бить, избивать), *долбила* (занудливый, надоедливый, производящий однообразные раздражающие действия человек), *долбаться* (заниматься тупым, бесполезным, однообразным, выматывающим, прежде всего физически, делом, в воровском жаргоне — совершать акт мужеложства, а также ломиться, стучаться куда-нибудь), *долбанный* (эмоциональное восклицание по поводу чего-л. вызывающего отрицательную эмоцию), *долбанутый* (чокнутый, не вполне нормальный), *дюбнуть* (клюнуть и обокрасть), *дуло, очко* (отверстие в заднем проходе) и совсем неприличное *долбоеб*, с эвфемизмами *долбоклюв*, *долбонос*, в значении зануда, тупица, дурак, не понимающий, не реагирующий должным образом, делающий ненужное, увлеченный глупостями, производящий дурацкие непотребные действия, занятый этим без понимания

обстановки, дупель, дупло, дебил, а также, в прямом значении, увлеченно и грубофизически занятый (занимающийся) сексуальными действиями (стучащий, как дятел по дереву), тупой любовник, насильник, эротоман, не реагирующий на возможные негативные знаки и неприятие со стороны окружения и своей партнерши, интересующийся одной только механической, кинетической стороной. Не без значения, видимо, будут и элементы фонетических соотношений: *д-т-л* (в слове *дятел*) и *д-л-б* (*долбить, долбила, долбоек*), *д-п-л* (*дупло, дуплить, дупель*), *д-б-л* (*дебил*), *д-л* (*дуло*), *д-б* (*дуб, дубье, дубина*), с дальнейшими, на периферии, но поддерживаемыми семантически *д-р-т* (*драть, дратва*), *д-р* (*дыра, дурень, дурь, дурье, дура*).

В итоге *дятел* может быть определен в пределах очерчиваемого им в воровском жаргоне смыслового и коннотативного круга как обозначающее того, кто испытал воздействие либо совершает действия (различие, важное для подласти смысла, но не его как целого), делающие его нечистым, замаранным, приобщенным к презренному и избегаемому, т.е. тем, чем достойный вор, представитель своей среды, не может, не должен и не желал бы быть. Различия между представленными четырьмя значениями (подобластями общего смысла) можно представить как векторные: действие на него (1 — ‘жертва преступления, потерпевший’), изнутри вовне (2 и 3 — ‘клязник’ и ‘осведомитель, доносчик’, различающиеся далее в значениях процесса для 2 и источника — процесса — его результата для 3) и внутрь (4 — ‘активный гомосексуалист’). Дятел, тем самым, воспринимается как носитель и переносчик марающего, пачкающего, отмеченного отработкой, переработкой (обработкой: *обработать* кого ‘обокрасть’), отходами, испражнениями, начала (в том числе как идея опорожнения, выделения, удаления, выбрасывания из себя также и в отношении самой воровской среды как своего рода биологического организма³⁰), которое следует избегать и которое к тому же еще и долбит, т.е. обладает способностью донимать, изводить, морочить (одно из наиболее неприятных переживаний и нежелательных состояний у вора, сопровождаемое резко отрицательной, злобной и раздраженной эмоцией по поводу его источника и причины³¹).

Имея сходящиеся — расходящиеся векторы, представляемая область должна обладать также центром, вбирающим в себя и из себя испускающим реализованные и потенциальные смыслы. Сферическая подоб-

³⁰ Ср. архаичное представление тела социума с его физиологическим низом, находящее свое воплощение в средневековой, смеховой, так называемой карнавальной и раблезианской культуре (М.М. Бахтин: *Творчество Франсуа Рабле и народная культура средневековья и Ренессанса*. Москва 1990), а также в скатологических формах брани, ругательств — В.И. Желвис: *Поле брани. Сквернословие как социальная проблема в языках и культурах мира*. Москва 1997.

³¹ Ср.: *комар долбит* ‘о похмелье’, *долбить кумор* ‘тяжело болеть’; ‘быть в состоянии наркотического голода’, в том же значении *долбота*. Д.С. Балдаев, В.К. Белко, И.М. Исупов: *Словарь тюремно-лагерно-блатного жаргона...*

ласть центра может быть строго не определена — явление, по замечанию Д.С. Лихачева³², в целом свойственное воровскому жаргону. Но, будучи не четко, не строго, не явно определенным, он, этот центр, содержит в себе общий идейный и эмоциональный заряд, позволяющий говорить о сигнальной, ориентированной направленности и об отношении, типичном для представлений и психологии воровской среды. Подобным центром могло бы быть (для заключений иного рода оснований как бы и нет) значение, даваемое в словаре как 5-е — тяжкое оскорбление у блатных. Собственно говоря, не значение.

Что касается оскорблений и инвектив, то эта сфера не слишком ясно определяется и представляется в лексикографии в целом для языка, не только для воровского жаргона. Причем наименее четким и объяснимым характером, помимо резкого неодобрения, грубого оскорбления, унижения, пренебрежения, обладают наиболее сильные и вульгарные формы, часто не обозначая толком ничего другого, кроме желания оскорбить либо излить на кого-то злость, агрессивную, рвущуюся наружу эмоцию. Хотя изначально формы эти что-то обозначали, часто не полностью стертые, не совсем забытые для говорящих, не проявляющее себя безусловно и обязательно в употреблении, но и не совсем случайное с точки зрения передаваемого отношения для того, кто именно ту, а не какую-то, все равно какую, иную форму для передачи своей эмоции использует. Синонимичные, казалось бы, для русского языка слова *подлец*, *негодяй*, *мерзавец*, одно через другое объясняемые в словарях³³, далеко не всегда могут быть взаимозаменяемыми в речи. При этом причина будет не только в различном характере мотивирующего у каждого основания (*подлец* — *подлый*, *негодяй* — *негодный*, *мерзавец* — *мерзкий*), но и в характере обозначаемых ими свойств, следующих как обобщение для типичных для

³² «Воровская речь идет по пути ослабления связи между значением слова и его звуковой стороной. ... Некоторые слова воровской речи мы можем прямо назвать асемантическими. Таково, например, слово „же” ... Само по себе, взятое изолированно, слово „же” не имеет никакого значения, но приобретает любое значение в зависимости от контекста и от конкретной обстановки. ... „девчонка на же” — хорошая; „это дело же” — провалилось, не удалось; „ты кто — же?”; т.е. свой — вор; „топай же” — иди воровать и т.д.» Д.С. Лихачев: *Черты первобытного примитивизма*..., с. 372.

³³ См., напр., в *Русском семантическом словаре* (Т. 1. Москва 1998): ПОДЛ'ЕЦ 1. Подлый человек, негодяй; вообще тот, кто ведёт себя подло (также бран.); НЕГОД'ЯЙ 1. Подлый, низкий человек; вообще тот, кто ведёт себя скверно (также груб. бран.); МЕРЗ'АВЕЦ (разг., также бран.) 1. Подлый, мерзкий человек, негодяй. *Он м.: способен на любую низость.* (с. 118, 119) Во всех трех случаях речь идет о подлости, низости, негодяйстве; подлом, скверном, низком поведении, по сути мало чем отличимым и, как правило, субъективно оцениваемым. В употреблении, однако, слова эти, связанные конструкциями, привычными сочетаниями, предпочтениями коммуникативной среды, позволяют также увидеть различие оценочно-смыслового характера, часто не безразличное для говорящих. Впрочем, это тема, выходящая за рамки данной работы, на данном примере хотелось только лишний раз подчеркнуть узуальное безразличие смысла оценочно-характеризующего и бранного, инвективного слова.

каждого из них поведения и соответствующих действий: *подлец* не так себя проявляет, как *негодяй*, а тот в свою очередь, как *мерзавец*.

Переноса все это в сферу определяемого нами *дятла*, следовало бы сказать, что 5-е это его значение-оскорбление должно было бы обобщать характерные признаки проявления (поведения, действий) *дятла*, типичные для него и отличающие его от чего-то другого. На основании выведенного и сказанного такими признаками предположительно³⁴ могли бы быть резко очерчиваемое несоответствие называемого этим словом субъекта воровской среде по причине его непосредственного (контагиозного, контактом заряженного) отношения к действиям марающего, унижающего характера, конкретно — к действиям неприкасаемого, имеющим отношение к тому, что *говно-запахло*, как в прямом, так и в переносном смысле.

Предицирование как свойство воровского жаргона замещается в сленге, как отмечалось ранее, механизмом означивания иного типа. Для первого приближения названного преобразованием, с позицией не к проекции в действие, партиципированному взаимодействию, как в жаргоне, а к наблюдению (обсервации) и взаимодействию коммуникативному. Магическая функция первобытной охоты воровского жаргона, приписанная и убедительно показанная, в русле теоретических установок времени, Д.С. Лихачевым³⁵, в современном русском сленге заменяется на компенсирующую и защитную, но не в магическом, как оградительная³⁶, а в социально-психологическом смысле, как то, что дает ощущение внутреннего, эмоционального равновесия в коммуникативной группе³⁷, среде, замещающей говорящему ощущаемый им как чуждый, дискommunikативный и дисконтakтный, возможно враждебный и неприязненный, общественный социум. Так приблизительно можно бы было, чтобы остаться в рамках общего представления для того и другого, определить основное отличие жаргонов и сленга как производящих значения, вербальных генеративных систем, прежде чем рассмотреть на примере, выбранном для сравнения, то, что отличает сленг от воровского (в нашем случае) жаргона.

³⁴ Для более точного заключения необходимо быть носителем воровского жаргона.

³⁵ «Своеобразные условия, в которые поставлена воровская среда: постоянное враждебное положение по отношению к „легальному” обществу, примитивно-охотничьи приемы деятельности, бродячая жизнь, огромная роль личных качеств и „естественных” условий при совершении краж, общее потребление и т.п., создают условия, при которых в речи и в мышлении возрождаются явления, аналогичные первобытным». Д.С. Лихачев: *Черты первобытного примитивизма...*, с. 359.

³⁶ Предохранительная, апотропеическая, равно как и др. магические функции в системе обряда см., напр.: Е.Г. Кагаров: *Состав и происхождение свадебной обрядности*. В: *Сборник Музея антропологии и этнографии*. Т. 8. Ленинград 1928.

³⁷ Применительно к молодежному сленгу подобную функцию отмечает Н. Zgółkova: *Specyfika języka młodzieżowego w świadomości uczniów*. W: „Socjolingwistyka”. Т. 11. Kraków 1991.

Дятел в сленге, предполагая определенные ранее пять значений в их отношении к воровским, с учетом сленговых генеративных особенностей, видится совершенно иным. Прежде всего, это не тот, кто мажет и мажется (кого мажут и кто может пачкать), т.е. носитель свойств неприкасаемого. В сленге это не действующий либо испытывающий воздействие, но проявляющий, ведущий себя не так. Выглядающий в этом своем проявлении, внутреннем ощущении говорящим и, тем самым, в его оценке (т.е. перцептивном образе) как выбивающийся из рамок нейтрально-незамечаемого, и потому не мешающего, в сторону раздражающего, создающего неудобства, вызывающего неприятности и трудности, поведения не управляемого к тому же, не поддающегося регуляции, не корректируемого в своих проявлениях субъекта. Для сленга в этом отношении важно как внешнее — вид, поведение, видимость, представление, ощущение от определяемого словом лица, предмета или явления, так и внутреннее — способность либо неспособность контактно-регулирующего, коммуникативного и управляющего взаимодействия с ним, т.е. его поддаваемость либо неподдаваемость приспособляющему для себя (под себя) воздействию (адаптивность / дезадаптивность) со стороны потенциально заинтересованного в этом субъекта.

Дятел в этом смысле являет собой пример очевидной и явной дезадаптивности. Внешние признаки мотивирующего и осознаваемого основания дятла-птицы — наличие выдающегося клюва, большего, чем у других наблюдаемых и знаковых для национальной культуры (не экзотических) птиц; необычное, выделяющее его на фоне других представителей птичьей фауны, поведение, проявляющееся в громких стуках по дереву, слышимых издали и определяемых словом *долбить* (длительно и упорно ударять, стучать), в сочетании с яркостью, пестротой окраски, характерных для некоторых видов дятла; а также дупло, как привычное место его обитания, — все это в сленге преобразуется в признаки бросающейся в глаза несуразности, представляющей называемый объект смешным, необычным, нелепым, дурацким. Вызывающее излишество, избыточность формы, размеров, вида, дисгармонирующая их величина становятся основанием внутреннего восприятия-ощущения (перцептивного образа), переходящего в оценку и представление наблюдаемых и приписываемых поведенческих свойств. Основу обозначения составляют при этом признаки избыточности (перебора) и дисконтакта, следующего из дезадаптивности, неподдаваемости регулируемому воздействию.

Избыточность и дисконтактность можно было бы выделить как определяющие основания в отношении обозначаемого референта в сленге, связываемые с позицией речевого субъекта и следующие из нее, охарактеризованные как обсервативность и коммуникативность. Избыточность проявляет себя не только как внешнее, связанное с восприятием и характеристикой формы и внешнего вида, но и как, преобразуемое из внешнего, основание внутреннее, обуславливаемое оценкой и ощущением поведения, черт характера,

темперамента, свойств объекта, для неодушевленных предметов — его функциональных особенностей, проявляющихся во взаимодействии с ним. Дисконтakтность обращается, так или иначе, вокруг неотзывчивости и замкнутости, отсутствия реактивности, вовлеченности, интровертном уходе в себя, не подстраиваемости и не настраиваемости, нерегулируемости, неспособности объекта к желаемому ответному действию и, тем самым, проявлению своей воли над ним с последующим его подчинением ей. Таким образом, если принять лихачевское определение воровского слова либо как сигнала, задача которого указать на факт, либо как понукания, понуждения к действию, то слово в сленге также может быть определено как сигнал, но сигнал, не указывающий, а характеризующий — в отношении избыточности и дисконтakтности, т.е. неподдаваемости приспособляющему под себя воздействию определяемого словом лица, объекта или явления.

Более основательное подтверждение данного положения требует обстоятельного и разностороннего рассмотрения материала, с подразделением дальнейших, производных, смежных и составляющих, признаков и оснований. Для иллюстрации покажем это на примере одного только слова с ярко выраженной сленговой характеристикой: *колбаситься* ‘проводить много времени в суете, заботах’; ‘валять дурака, бездельничать’; ‘вальжничать, манерничать, ломаться’; ‘получать удовольствие’³⁸. *Колбаситься* от *колбаса* — воспринимается как нечто большое, длинное, возможно толстое, громоздкое, нелепое и смешное — формой, способностью болтаться, качаться в стороны при несении, перемещении в пространстве (избыточность, перебор); внутренним ощущением самодовольства, самодостаточности, следующими из гладкости, сочности, блестящести ее среза и упаковки, а также довольстве того, кто ею обладает, ее раздобыл, достал, за ней съездил (в условиях советской и постсоветской действительности), ее имеет (в сленге одно из значений слова ‘любые продукты, пища’) — интровертная замкнутость, неподдаемость приспособляющему воздействию, дисконтakтность.

Первое значение *дятла* (доносчик, стукач), в русле сказанного, можно было бы воспринимать как сигнальное обозначение, характеристику того, кто способен своими действиями, своим занятием и своей вовлеченностью при его совершении, с беганием по начальству и суетой, доставлять беспокойство и неприятности, стуком передавать, сообщать те сведения, которые могут стать причиной неприятностей, вреда. При этом в занятии этом своем, в своих действиях и поведении он находится вне возможности регулируемого воздействия, подчинения, исправления им совершаемого, т.е. действует и ведет себя как дисконтakтный, не поддающийся, замкнутый интроверт.

Второе значение (молодой солдат, обучающийся профессии связиста; связист), армейское, передает типичное для этой среды восприятие признака

³⁸ В.С. Елистратов: *Словарь русского арго...*

‘молодой’, т.е. неопытный, необученный, как такого, который еще соответствующим образом не обработан, не приспособлен к новой среде, не понимает негласных правил, позиций и расстановок армейской жизни, распорядка и этикета, царящих в ней. Кто еще не притерт, должным, мгновенным, образом, без лишних вопросов и препирательств, на желание старших (дедов) не реагирует, производя впечатление встрепанного, не подготовленного и потому как бы замкнутого в себе, не отзывчивого, увлеченного (как птица-дятел) собой и, как птица-дятел, поэтому дергающегося, вертящего своей дурной головой с не видящим ничего, кроме дерева перед собой, черным глазом. И второго признака, непосредственно связанного с производимым дурачки нелепым и раздражающим стуком (связист должен стучать, согласно существующему представлению-прототипу, аппаратом, передающим сигналы, морзянку), а также с занятостью, увлеченностью и вовлеченностью в свое стучащее, поскольку передающее сообщения, занятие-дело. Охарактеризованные проявления, тем самым, прямо связываются с признаками избыточности (перебора) и дисконтактности.

Третье значение (дурак, тупица) можно рассматривать, применительно к данному слову, как ведущее и основное для сленга, воплощающее в себе в наиболее полном и явном виде охарактеризованные ранее признаки птицы-дятла русского восприятия как упорного в своей увлеченности и несуразного, в том числе в своей птичьей занятости и отстраненности, существа — длинноносого, не реагирующего ни на что вокруг и не воспринимающего человеческих слов *долбили*. И снова избыточность и дисконтактность.

Четвертое значение проецирует доминанту занятия-действия как увлеченно-упорного стука, целиком поглощающего внимание того, кто его производит, в избыточности своей вызывающего неприязнь и раздражение со стороны субъекта, не способного на него, этот стук, и его производителя повлиять, скорректировать, отрегулировать в желаемом направлении его такое проявление.

Пятое (ирон. обращение к любому человеку) обнаруживает обобщенное представление о том, к кому обращаются либо о ком что-л. говорят, как о носителе все тех же признаков перебора-избыточности, нелепости, несуразности и интровертного дисконтакта, вовлеченности, занятости собой, не реагируемости должным образом на говорящего и на других, что ведет, как следствие, к потенциальному причинению им неудобства, трудностей, нежелательных осложнений, возможного вреда³⁹. Включая признаки четырех предыдущих значений и, обобщением, нейтрализуя их, пятое может рассматриваться, как и в случае со словом *дятел* для воровского жаргона, центром возможной понятийно-эмоциональной области, связанной с рассматриваемым словом.

³⁹ В этой связи представляет интерес постановка вопроса в работе: Л.А. Радзиховский, А.И. Мазурова: *Сленг как инструмент отстранения*. В: *Язык и когнитивная деятельность*. Москва 1989.

В силу сленговой пестроты, разнообразия перемежающегося в сленге и пропускаемого им через себя материала, трудно было бы говорить о приведенных пяти значениях как о реализациях тех позиций-мест, которые можно было бы выделить как валентности, векторы соответствующей понятийной области. Сказанное не означает, что такими понятийно-эмоциональными сферами сленг не обладает и что валентные векторы им не свойственны, — реализуемые в нем значения могут не быть прямыми и точными их отражениями, а их соотношения далеко не всегда представляет структуру, составные части которой связываются в стройную модель.

Понятийно-эмоциональная область-сфера в своих валентностях и, тем самым, в своем устройстве, выглядит в сленге иначе, чем в воровском жаргоне, в силу системных различий того и другого (о чем говорилось применительно к предикциированию для жаргона и обсервации, коммуникативности для сленга). Попробуем выявить ее в отношении рассмотренной нами, определяемой *дятлом*, предметно-понятийной области, на основе охарактеризованных пяти значений, точнее признаков, свойственных им, не их самих, поскольку в сленге соотношение валентного места в схеме лексико-семантического оформления и реализуемое, вернее было бы говорить используемое, лексическое значение почти всегда отстоят друг от друга. Проекции этих валентностей можно было бы охарактеризовать по точкам в следующих отношениях: (1) тот, кто стучит (2) упорно и увлеченно, (3) не реагируя на окружение, и (4) стуком этим передает (5) то, что мешает, раздражает, вредит — наблюдателю, тому, к кому обращаются с речью как к такому же носителю сленга, представителю той же коммуникативной среды, одобряющему подобную постановку вопроса и принимающему подобное отношение, т.е. своему.

Первое, таким образом, передает позицию характеризуемого объекта как производителя действия, носителя свойства, выделяющего его из других (дифференцирующий признак обозначаемого референта по основанию избыточности, возможно с примесью его дисконтактности). Второе — как уточняющий признак дифференцирующего признака или действия (детерминант по основанию избыточности, с более весомой примесью дисконтактности). Третье — как сопровождающий признак дифференцирующего с включением детерминанта (дисконтактность становится основным проявлением смысла). Четвертое — как признак-следствие из трех предыдущих, по-разному аранжированных в его смысловой структуре (дисконтактность, избыточность, оставаясь базой, определяя три предыдущих, играют теперь роль маргинальную). И, наконец, пятое — как признак, воздействующий на субъектную сферу позиции наблюдателя.

Предпринятое исследование имело целью определить жаргоны и сленг как принципиально различным образом действующие языковые системы. Невозможно было в рамках одной статьи затронуть, даже самым беглым и ненаглядным образом, возможные направления и подходы подобного опре-

деления. Не хотелось также делать это исключительно теоретически и обобщенно. Поэтому мы ограничились представлением одной стороны — способом оформления значений, выбрав для этого (руководясь желанием в малом увидеть признаки большего) понятийно-эмоциональные области, отображаемые в воровском жаргоне и современном сленге, одним общим словом *дытел*. Перспективой возможного в будущем рассмотрения, которое позволило бы системно и в очевидный способ установить различие обеих форм (жаргонов и сленга), могло бы быть, в частности, выведение на основе признаков, характерных для каждой социовариантной формы понятийных, эмоционально заряженных сфер-областей, предполагающих, с одной стороны, проекцию типичных, исходных образов как мотивирующих обозначения представлений, а с другой, включение этих признаков и областей в систему наглядного, производящего эти значения, действия. Начала подобного описания, отдельные его элементы и наблюдения можно найти, при внимательном к ним подходе и рассмотрении, в работах как современных, так и им предшествовавших исследователей (20-30-х годов XX века применительно к русскому языкознанию). Глубокое и всестороннее обращение к языковому материалу в сочетании с осмыслением теоретических наблюдений, имеющихся в литературе, помогли бы восполнить тот замечаемый многими исследователями пробел, который испытывают на себе языки подстандарта.

Piotr Czerwiński

Żargony i slang a znaczenie leksykalne wyrazu

Streszczenie

Autor podejmuje próbę rozróżnienia pojęć „slang” i „żargon”. Uznaje je za samodzielne podsystemy językowe (języki podstandardu). Wychodząc z pozycji podmiotu mówiącego — użytkownika slangu i żargonu, które uznawane są za specyficzną formę organizacji procesu mówienia, określa mechanizmy leżące u podstaw procesu nominacji, czyli organizacji znaczeń leksykalnych. Dla żargonów charakterystyczny jest taki stosunek do oznaczanych obiektów i zjawisk, który wyznacza jest przez predykowanie i partycypację. W slangu natomiast jest to przekształcenie i obserwacja. Na przykładzie wyrazu *дытел*, charakteryzującego się w slangu i w żargonie przestępczym zbieżnością znaczeń, analizowane są silnie nacechowane emocjonalnie przedmiotowo-pojęciowe zakresy obu „języków”. Autor dochodzi do wniosku, że w celu wykazania różnic między omawianymi „językami” niezbędne jest dokładne zbadanie mechanizmów nominacji.

Piotr Czerwiński

Jargons and slang vs the word lexical meaning

Summary

The author makes an attempt to differentiate between slang and jargon. He treats them as individual language subsystems (substandard languages). Beginning from the position of a speaking subject — slang and jargon user considered to be a specific form of lexical meaning organization, he defines the mechanisms underlying the nomination process, i.e. lexical meaning organization. For jargons, there is such a characteristic attitude to nominated objects and phenomena that is defined by means of predicates and participles. In slang, on the other hand, it is transformation and observation. On the basis of the word *бятел*, which is marked in slang and criminal jargon with the meaning similarity, the author analyses strongly emotionally-marked subject-notion scopes of both “languages”. The author draws a conclusion that in order to show the differences between the languages in question it is necessary to thoroughly examine the nomination mechanisms.